

Б И Б Л И О Т Е К А

ISSN 0132-2095



ОГОНЕК

№ 4

1985



Семен КЛЕБАНОВ

М О С К В А

ИЗДАТЕЛЬСТВО

«П Р А В Д А»

СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО

Семен КЛЕБАНОВ

**СОВЕРШЕННО
СЕКРЕТНО**

Новеллы

Москва. Издательство «ПРАВДА»
1985

Семен КЛЕБАНОВ

Семен Семенович Клебанов родился в 1914 году. Драматург, член Союза кинематографистов СССР, автор книг «Севастопольская тетрадь», «Тайна моего города», «Спроси себя», «Прозрение».

С. Клебанов более четверти века проработал в печати — был ответственным секретарем «Литературной газеты», заместителем главного редактора журнала «Смена». Имеет двенадцать правительственных наград.

В период героической обороны Севастополя — военный корреспондент «Комсомольской правды» в Севастополе и на Черноморском флоте.

ПИСЬМО С ФРОНТА

Редакция «Красного черноморца» получала много писем.

И даже вечером, когда верстался очередной номер, начальники отделов все еще требовали места, чтобы напечатать «золотой материал» из свежей почты. С ними было трудно спорить, и обычно разговор заканчивался утешительной фразой: «Газета — не трамвай, напечатаем завтра».

Но в этот вечер произошло другое.

Из бригады морской пехоты вернулся корреспондент Владимир Апошанский. Подойдя к редакторскому столу, он раскрыл свой планшет и вынул пачку писем. Он выбрал одно и сказал:

— Это надо в номер.

В эту минуту нам показалось, что он доставил срочный, особо важный приказ командующего и потому так категоричен. Но тут же увидели, что это совсем не приказ, — текст был написан от руки.

Редактор Степан Зенушкин прочитал письмо и, как-то странно кашлянув, приказал:

— В номер...

Написанные округлым, размашистым почерком, лежали на бумаге строчки. Вот они:

«Дорогая незнакомая подруга! Это письмо я пишу тебе из героического Севастополя. Оно, мое письмо, так же сурово, как и город. Слова мои, как волна, тяжелы. Дорогая незнакомая подруга. Это письмо несет тебе горе, но я выполняю последнюю просьбу твоего друга Геннадия Годыны. Твой друг погиб. Проклятая пуля оборвала его жизнь. Он умер героем. Друг Геннадия нес для тебя его последний привет, последние слова, но вражеский снаряд оборвал и эту молодую жизнь. И вот среди крови и земли я нашла маленький окровавленный клочок бумажки и разобрала несколько прощальных слов, написанных рукой умирающего Геннадия...

Дорогая незнакомая подруга! Я не знаю, где находишься ты. Если ты не на фронте — иди на фронт. Возьми винтовку своего друга и отомсти за его смерть. Иди на наш героический Севастопольский фронт. Я покажу тебе могилу Геннадия. Иди к нам, ты отомстишь. Нас

много — женщин на фронте, и почти у каждой свое горе. И это горе удесятеряет силы и зовет к беспощадной мести... Иди... Кровь Геннадия зовет тебя, иди смело, без страха и боязни.

Тебе будет тяжело дышать воздухом, наполненным запахом крови и пороха... Вчера я видела восьмилетнего мальчика с оторванными снарядами ногами. Его несли санитары, а обезумевшая мать искала среди развалин его ножки...

Ты посмотришь на наших героев, и у тебя пройдет страх. Ты увидишь, как спокойны и суровы лица людей осажденного Севастополя. Вера Томилина».

Часов в десять вечера принесли мокрый оттиск полосы с письмом Веры Томилиной.

Едва я начал читать, как снова завывла сирена и погас свет. Зажгли свечи. И свечи, как люди, вздрагивали от бомбовых взрывов.

В линотипах застыл металл. Правку полос пришлось делать вручную. Литые строчки неуютно соседствовали с ручным набором.

В полночь газета была готова к печати. Но никто не ложился спать. Надо было самим крутить колесо печатной машины — тока все еще не было. К утру смогли напечатать только 1800 экземпляров.

Когда рассвело, в редакцию пришел моряк и, сняв фуражку, сказал:

— Здрасьте! Я из седьмой бригады... За газетой.

Я отсчитал ему десять номеров.

— Меня ж на передовую не пустят! — сказал он устало и спокойно. — Что вы, товарищ старший политрук.

Я добавил три экземпляра.

БРЕХУН

О нем всегда говорили с усмешкой:

— Ну что с него взять?

Почти никто из однополчан не называл его по имени и фамилии. Казалось, люди даже забыли, что он Максим Ребров. Он смирился с этим и не усматривал в прозвище ни оскорбления, ни обиды.

У Максима был веселый нрав и неистощимая потребность рассказывать небылицы. В часы редкого отдыха он удобнее пристраивался в блиндаже и, зажмурив глаза, делал вид, что спит. А сам ждал, куда кто-либо не скажет:

— Давай, Брехун, сочини.

Несколько минут он выжидал и, только в третий раз услышав просьбу, сонно щурил глаза, успев за это время придумать очередную байку.

Сегодня он начал как обычно:

— Хотите — верьте, хотите — нет. Только все это чистая правда...

— Давай рассказывай рябой кобылы сон,— усаживаясь ближе, подзадорил бронебойщик Кудряш.— Потом скажем, что и как...

— Ладно...— согласился Максим.— Имею к вам вопрос: мыши долго живут?

Он подмигнул и, дожидаясь ответа, стал сворачивать «козью ножку».

— А хрен его знает,— пробасил Кудряш.

— Пораскинъ мозгами,— посоветовал Максим.

Кто-то издали ответил:

— Десять лет...

— Семь!

— Давай говори!

— Это, братки, зависит от кошки...— сообщил Максим.

Все рассмеялись.

— Брешет, как шелком шьет,— сказал Кудряш.— Трави дальше.

Максим, как хороший артист, почувствовал, что зрители уже настроены, и перешел к коронному номеру.

— Было время — я во Владивостоке жил... Город, скажу вам, после Севастополя — второй. Бывало, прихожу в ресторан «Золотой рог» пообедать нормально... Заказываю поджарку натюрель. Для начала лимонадом побалуешься сорокаградусным, а тебе уже несут. Огромная сковорода на тарелке. И все шипит, булькает. А в тарелке — огонь. Денатурат горит. Так что перед тобой персональная плита. Аромат такой — есть не надо — сыт будешь.— Максим пожевал губами, словно облизнулся после вкусной трапезы.— Служил я тогда на китобойной матке «Алеут». Это вроде рыбного крейсера. Вышли в рейс, аж к Берингову проливу ходили — и всего двух китят взяли... А время идет, обидно с таким багажом к причалу швартоваться. Подумал я и говорю капитану: «Неправильно ловите. Надо с оркестром. Кит на музыку, как пчела на мед, идет». Слушает меня капитан, задумался. А потом говорит: «Двадцать лет плаваю — такого не слышал». Я ему: «Мое дело предложить, ваше — попробовать...»

— Слушай, друг, а ты часом не с Брехунивки? — перебил его Кудряш.

— Я в твоей деревне не бывал,— отпарировал Максим.

— А я думал, мы родичи: на одном солнце портянки сушили.

Максим дождался, покуда все уgomонились, и продолжал:

— На другой день с Камчатки поднялся самолет, а на нем оркестр. С барабаном, все как положено. И что вы думаете? Ключнул кит на музыку. Самолет идет низко, чтоб слышно было, а со всех сторон киты выглядывают... То один фонтан, то другой. А летчик к нам на «Алеут» депешу выстукивает: «В квадрате семь вижу стадо». Больше всего кит на «Барыню» шел... Вот так, братки, мы за месяц годовой план выполнили. Как пришли во Владивосток — все ахнули...

— Брешет и оком не моргнет.— Кудряш сердито сплюнул.— Лучше бы часок прикорнул...

— Небось наградили тебя? — полюбопытствовал усатый моряк.— Оценили?

— Было. Выстроил капитан экипаж и говорит: «Спасибо тебе, Максим Ребров, от коллектива!» Затем вынул из кармана серебристую шутовину...

— Орден? — спросил кто-то.

— Вынул серебристую шутовину и вручает мне: «Храни на память...» Мне перед строем ни к чему разглядывать подарок. Зажал шутовину в руке и благодарю, как положено. А потом кинулся в каюту и увидел... Зажигалка. На крышечке — часики тикают, махонькие, как наперсток, а как щелкнешь, чтоб прикурить, — марш играют...

— А где ж зажигалка? — ехидно спросил Кудряш.

— Дома осталась... — ответил Максим.

Братки, как всегда, не поверили.

А такая зажигалка у него была. И подарил ее капитан «Алеута». Правда, не за ловлю китов при помощи музыки, а за то, что в шторм спас матроса, смытого волной за борт.

Но Максим не любил рассказывать про это, ибо был убежден, что прошлым хвастаться ни к чему, тем более здесь, на передовой, где каждый браток шел в атаку, не жмурясь от страха.

Глаз у Максима был меткий, он пристрастился к снайперскому делу и стал ходить в засаду. На третий день свалил четырех фрицев. С той поры, облюбовав секретный окопчик, окаймленный кустарником, он охотился с утра до вечера.

Все было ладно, только некому было поведать сотни нерассказанных баек.

Максим уходил в свой окопчик перед рассветом, маскировался и, прильнув к оптическому прицелу, прижимал палец к спусковому крючку. Теперь оставалось ждать, куда над бруствером появится немец, и тут уж не моргай — вали его.

Но в этот день в окуляре прицела виднелось только небо, перетянутое вдоль горизонта рядами колючей проволоки.

Вдруг в тишину утра проник урчащий гул. Прошла минута, и в крестовине окуляра появился немецкий самолет. Близкий для глаза, он был недосыгаем для пули. Максим чертыхнулся.

Самолет вышел из крестовины, но гул не утихал.

Максиму мешали ветки маскировки, он хотел их раздвинуть, но вовремя опомнился, что обнаружит себя, — и снова прильнул к окуляру.

А гул все приближался. Теперь уже было ясно, что самолет вот-вот начнет бомбить наши окопы.

Максим не выдержал. Раздвинув увядшие ветки, он уловил

мгновение, когда немец стал круто пикировать. Винтовка приподнялась, и крестовина засекла самолет. Прошло не больше секунды. Максим нажал спусковой крючок. Выстрел. И еще один...

Самолет качнулся, окутался дымом, потом вспыхнуло пламя, и машина с грохотом рухнула на каменистую землю.

Когда стемнело, Максим покинул засаду.

Возвращаясь к своим, он думал о том, как отвести подозрение, будто он, Максим, и есть тот снайпер, который свалил фрица с неба. В голове роились варианты рассказа, что он в это время держал на мушке офицера и никак не мог расстаться с важной целью.

Но эта придумка рухнула, когда Максим переступил порог командного пункта.

— Ну, молодец! — сказал командир и кивнул вестовому.

Тот вытащил из дальнего ящика бутылку водки и наполнил железные кружки.

— По такому поводу сам бог велел, — чокнувшись, командир отпил глоток.

Максим, опорожнив кружку, спросил:

— А в роте знают?

— Что рота! Командующий звонил, просил поздравить... Горсовет наградил тебя часами и наличными — тысяча рублей.

Максим, обычно разговорчивый и веселый, как-то сразу сник и молчаливо стал закусывать желтоватыми кусочками сала.

— Езжай в Севастополь... Получай награду... — сказал командир.

Больше всего обрадовался Максим, что сможет забежать домой. Он не был там полгода, с той поры, как ушел на фронт, а родные уехали на Большую землю.

На штабной машине Максим добрался до города. Он с трудом узнавал растерзанные улицы. Все, что раньше слышал про разрушенный город, померкло. Глаза говорили больше.

На командном пункте председатель горсовета вручил ему часы и конверт с деньгами.

Выйдя на улицу Карла Маркса, Максим сразу решил, что заглянет домой. Чем ближе подходил к своей улице, тем сильнее колотилось сердце. Он на минуту остановился, потом побежал, будто догонял уходящий поезд. Свернув за угол, он застыл. Перед ним были закопченные стены с белыми плешинами, обгорелые стропила черными ребрами смотрели в небо.

Максим перепрыгнул через яму и вошел в руины, которые когда-то были его домом. Он осторожно перешагнул через балку, лежавшую на осколках порыжевшего зеркала...

К вечеру Максим вернулся к своим. Первым его встретил Кудряш. Он схватил за руку, потащил к друзьям.

— А ну, ребята, тихо... Сейчас Брехун будет рассказывать, как из рогатки немецкого летчика сбил...

Моряк с пшеничными усами дернул Кудряша.

Бронебойщик, видимо, понял, что перехватил, и, слегка подкашливая, сказал:

— Давай, Максим, расскажи, как ты его гробанул.

А Максим вынул из кармана сплюснутую, ставшую вороненой зажигалку и сказал:

— Вот все, что от нее осталось... Хотите — верьте, хотите — нет.

СВЕТЛЯЧОК

Не знаю, как начался этот спор. Я вошел в землянку, когда страсти уже накалились.

Чернявый пехотинец с глазами, суженными от злости, сердито говорил:

— Когда ты бегал в госпиталь со своим геморроем, наш командир был уже ранен в голову. Так что заткнись, босяк усатый.

Усатый ядовито ухмыльнулся:

— Выходит, я свое мнение сказать не могу?

— Можешь, только головой думать надо!

— Так его, Антон, — подзадоривали бойцы.

— Хлопцы! — искал сочувствия усатый. — Ну что я обидного сказал... Что командиру лучше, чем нам...

— Опять за свое? — резанул Антон.

— А как же!.. У него и права больше... И награду ему меньше «Звездочки» не дают.

Антон аж сплюнул.

— Права больше!.. Сукин ты сын! Первым умереть в бою, когда нет другого исхода, вот его права...

— Ты мне политграмоту не читай. Обучен...

— Вижу. Только учебники сам себе пишешь.

Через несколько дней немцы обрушили шквальный огонь на наши окопы.

Рота старшего лейтенанта Святослава Титова — меж собой моряки его просто называли Светлячок — держала оборону в районе Камышлы.

Когда канонада стала угасать и немцы решили, что теперь они пройдут, Светлячок поднял моряков в атаку:

— Вперед! Не отставать! За мной!

Вдали в огненно-дымных просветах замелькали серо-зеленые пятна.

Если бы у Светлячка было время оглянуться, он бы увидел, что моряки вытаскивают из-за пояса бескозырки и надевают их вместо касок. С криками «полундра», тонувшими в гуле боя, они устремились на врага.

Командир бежал впереди. Он слышал хриплое дыхание бойцов, догонявших его. Кто-то неистово ругался, вонзая штык.

Вдруг командир упал. Рука, державшая автомат, последней судорогой сжала теплый ствол.

Подбежал политрук. Застывшие глаза Светлячка его не видели.

Политрук вскочил и высоким глухим голосом крикнул:

— Рота! Слушай мою команду! Вперед!

Метнув две гранаты, он пригнулся. Через мгновение лицо его озарил огненный всплеск. Ноги стали чужими, непослушными. Политрук качнулся и упал в темноту.

И тут раздался голос Антона:

— Полундра! Отомстим за командиров! Вперед!

Низко нависшая каска прикрывала его глаза. Резким движением он откинул ее назад.

Из овражка поднималась цепочка немцев. Антон полоснул огнем автомата и упал — руку прошило очередью.

Вдруг он услышал знакомый голос:

— Вперед! Не отставать! За Светлячка!

Перемахнув овражек, бежали моряки, преследуя дрогнувших фашистов, а вел их в атаку усатый «босьяк».

МАКАРОНЫ ПО-ФЛОТСКИ

Восемь гробов везли с улицы Гоголя на кладбище.

Вражеская бомба разрушила макаронную фабрику. Погибли директор и семь работниц.

Ночь была холодная, рыскал колючий ветер, по небу плыли стылые облака.

Потом весь день разбирали завалы в цехах, перетаскивали уцелевшее оборудование.

Вера была в бригаде Щеглова. Они перегружали муку с разбитого склада. Вера взвалила на плечи трехпудовый мешок и, качнувшись, пошла к дверям. Но, не выдержав, крикнула: «Берегись!» — и сбросила мешок.

Щеглов подбежал к ней, хотел обругать, но, увидев бледное лицо, тихо пробурчал:

— Надорвешься. Вам мешка на троих хватит...

К вечеру всю муку перетаскили в подвал.

Здесь-то и нашел Веру секретарь райкома. Он повел ее в директорский кабинет.

— Значит, так... Будешь директором, — сказал секретарь и протянул Вере руку, считая разговор законченным. — Жми как следует.

— Какой из меня директор? — нахмурилась Вера. — Это же

фабрика, а не пивной ларек. Я в этом сальдо-бульдо в первый же день заплутаюсь.

— Надо, — сказал секретарь. — Надо, Вера. Ты уж выручай.

Вера проводила его до порога, дальше не пошла. Подумала, если встретят сейчас людей, секретарь объявит: «Вот ваш новый директор». А она никак не могла свыкнуться с назначением. Само слово «директор» казалось ей, работнице фабрики, слишком громким и даже торжественно официальным. И теперь уже, конечно, подруги перестанут называть ее Верой, а будут величать Верой Владимировной. Хлопотливый, дотошный главбух Щеглов обязательно не преминет добавить «уважаемый директор»...

Она стояла, прислонившись к косяку двери, и вглядывалась в едва освещенный коридор, за которым был ее цех.

Потом наконец захлопнула дверь и пошла в расфасовочный цех.

На длинных столах, на полу лежали груды макарон, густо обсыпанные осколками стекла, обломками штукатурки.

Разбитые окна успели залатать фанерой. Три лампочки-временки бросали унылый свет на макаронный хаос.

Вера сделала несколько шагов. Под ногами хрустело битое стекло. Она взяла со стола пучок макарон, осторожно провела рукой. Ладонь покрылась стеклянной пылью. «Сколько добра пропало», — подумала Вера и, погасив свет, вышла из цеха.

Утром первым на фабрике ее встретил Щеглов.

— Здравствуйте, уважаемый директор, — сказал он. И без паузы продолжал: — Надо акт составлять. Убытки требуют учета...

— Почему вы ко мне?

Щеглов не дал ей договорить.

— Вера Владимировна! Получен приказ о вашем назначении. Приезжал рассылный.

Вера растерянно посмотрела на главбуха, который усердно протирал очки от вездесущей мучной пыли, потом вынула платочек и, словно ребенку, вытерла пушистые брови, побелевшие от муки.

— Яков Мироныч! Покуда мы наладим хозяйство, пройдет время. Что мы дадим фронту и городу?

— Докладываю. На складе уцелело три ящика макарон. — Он вынул из кармана листок. — Здесь все подсчитано.

— Давайте пока без бумажки. Мне так легче.

В кабинет вошла Мария Кравченко, начальник цеха.

— Здравствуй, Вера. — И, чуть засмущавшись, спросила: — Можно тебя по-прежнему называть?

— Дура ты моя сердечная. Садись. Как жить-то будем?

— Я прикидывала. За неделю наведем порядок.

— Сколько товару погибло?

— Три тонны.

Яков Мироныч снова подсунул бумажку.

— Следует уточнить.
— Я ж просила. Мне без бумажки легче.
— Согласен. 3017 килограммов.
— Что будем делать? — Вера облокотилась на стол, ждала ответа.
— Списать надо. И в море! — предложила Мария.
— А что скажет прокурор? — Щеглов приподнял очки.
— Мне с прокурором детей не крестить, — вспыхнула Вера. — Не пугай. Давайте думать своим умом. В море или...
— Можно закопать, — сказала Мария.
— Не торопись, сердечная... В море или в котел? Вот в чем вопрос.
— Уважаемый директор! — Щеглов зашагал по кабинету. — Я не Гамлет. Быть или не быть для главбуха вопрос необсуждаемый. На этот вопрос отвечает ревизор. Но я вам скажу, что рыбам такой корм отдавать нельзя.
— И я так думаю. Надо товар отправить на фронт.
— Господи! — всплеснула руками Мария. — А сан инспекция? Ты подумала, Вера? Своих калечить будем?
— Я подумаю. Приходите через час.
В полдень в цех втащили три больших чана, залили водой.
Обмотав руки бинтами, работницы брали пучки макарон и кидали в чаны. Стекло и мусор оседали на дно. А белые тонкие трубки макарон лениво плавали в воде. Затем их, как угрей, вылавливали сачком и бросали в другой чан. Потом в третий.
— В семи водах купаны, — радостно потирал руки Щеглов.
Потом его видели в управлении военторга. Оттуда он вернулся под вечер и доложил:
— Вера Владимировна! Уважаемый директор! Значит, так! Военторг принимает по чистому весу макароны. Мы получаем за товар деньги. Без убытка. Военторг отдает эти мокрые, влажные, как вам будет угодно, макароны своей столовой. Там их варят и в походных термосах отправляют на фронт. Что скажет прокурор? «Спасибо, товарищи!» Можно вам сделать комплимент? Из вас выйдет хороший директор...
В меню морской пехоты снова появилось любимое блюдо черноморцев: макароны по-флотски.

ХОЧЕТСЯ ЖИТЬ

В тот день я должен был умереть.
Это случилось тринадцатого. Утро началось с тревоги. Она была короткой, оставив после себя долгое зловещее ожидание очередного налета. Дул холодный ветер. Он хлопал дверями, которые уже некому было закрывать, раскачивал пустые рамы окон и надувал парусами чудом уцелевшие шторы.

Я шел по улице Ленина, в памяти неотвязно звучали знакомые строки: «Ветер, ветер — на всем божьем свете...»

Из переулка показалась старушка в бушлате. Он свисал с ее худых опущенных плеч. У самого горла, как брошка, поблескивала морская пуговица, словно старалась выделиться из остальных — штатских. Старушка шла медленно, озираясь по сторонам, и почти на каждом шагу горестно кивала головой. Поравнявшись со мной, она остановилась и участливо спросила:

— Милый, скоро вы отмаетесь-то?

Я не знал, как ответить, и только вглядывался в слезившиеся на ветру выцветшие глаза.

— Хочется жить, — сказала старушка. — Очень хочется жить. Она тихо вздохнула, перекрестилась и пошла дальше.

Мне нужно было зайти в черноморское отделение газеты «Красный флот».

Еще издали я увидел около редакции пожилого человека в ушанке. Он сидел на соседнем крыльце, плотно сжав ноги, обутые в валенки. Человек слегка раскачивался то ли от ветра, то ли в такт раздумьям.

Редакция была закрыта.

— Утром на фронт уехали... — сказал человек. — Может, что передать?..

И вдруг, опередив сирену, гулко, остервенело залаяли зенитки. Я посмотрел в небо. Немецкие бомбардировщики шли над городом, прямо по курсу улицы. В стылом воздухе раздался свист падающей бомбы.

Не знаю почему, но я рванулся вперед и, перебежав дорогу, вскочил в подъезд дома. Ветер услужливо захлопнул дверь. Не успел я спуститься на несколько ступеней, ведущих в подвал, как все вокруг загрохотало и залязгало. Казалось, убежище рушится.

«Все кончено», — подумал я.

Прошли секунды ожидания, прошли быстрее обычного.

Дверь, сорванная воздушной волной, распахнула улицу. Я услышал слабый голос:

— Помогите!

И опять:

— Помогите!

Я выбежал на улицу. Рядом с редакцией, у крыльца разрушенного дома, лежал окровавленный человек в валенках.

Я наклонился над ним. В это время все содрогнулось от нового взрыва.

Когда ветер разметал тучи дыма и пыли, я не увидел дома, где пять минут назад было мое убежище. Прямое попадание превратило его в скелет.

Я должен был умереть. Судьба рассудила по-своему.

СОБАЧКА СО ШТОПОРОМ

Бог не спал пятые сутки.

Если верно сказано, что артиллерия — бог войны, то старшего мастера артиллерийских ремонтных мастерских Семена Прокуду можно смело назвать богом артиллерии.

Обычно, услышав орудийную стрельбу, люди говорили:

— Береговая бьет...

Семен Иванович по своим, только ему ведомым звуковым оттенкам мог определить, какая батарея ведет огонь. Приложив палец к губам, он говорил:

— Александер стреляет... А вот сейчас Драпушко... Слышите, слышите?.. Теперь плавучая начала...

Бог не спал пятые сутки. Каждый раз, когда его уговаривали прилечь хотя бы на несколько часов, он сердито ворчал:

— Может, есть приказ, что я уже здесь не старший? Тогда валяйте, увозите старика из Севастополя...

Кто-то из бригады посоветовал подложить мастеру снотворное в кружку чаю, но все пришли к выводу, что делать этого нельзя, а вот когда сдадут орудие — запрут старика в его каморке на сорок восемь часов.

Старик Прокуда обещал командованию сдать орудие к концу недели. Он никак не мог примириться с мыслью, что батарея в назначенный срок не откроет огня. Думал — управится бригада как всегда. Но не хватало специального оборудования — его эвакуировали с основной частью завода, и теперь приходилось ловчить, придумывать, как возратить жизнь тяжелым батареям — верному стражу Севастополя.

Прокуде удавалось сделать то, что порой при технических расчетах казалось невозможным. Когда наступал предел измерения точности, фиксируемый наличным инструментом, Семен Иванович доверялся своим пальцам, словно на их кончиках были невидимые микроприборы. И он никогда не ошибался.

К концу шестых суток орудие было готово. Прокуда сказал:

— Теперь я чуток посплю...

И он ушел в свою каморку, где стояла железная кровать.

Проснувшись, он увидел на столике сверток. Протянул руку, развернул. Это был подарок от батарейцев: несколько банок тушенки и бутылка водки, на горлышке которой висела искусно вырезанная из дерева маленькая собачка. Вместо хвоста у нее был штопор.

В канун Первомая Прокуда был награжден орденом Ленина.

В Адмиралтействе, где вручали награду, он встретил знакомых командиров батарей в отглаженных кителях с надраенными пуговицами и как-то неловко почувствовал себя в штатском костюме.

Дивизионный комиссар Николай Михайлович Кулаков первому награду вручил Прокуде. Потом орден Красного Знамени получил командир батареи капитан Александер.

Прокуда все еще держал орден на ладони и раздумывал: сейчас ли его прикрепить или потом, на заводе.

Награжденных пригласили к столу.

Прокуда озабоченно держался в стороне. Вдруг он повеселел, сел за стол, снял пиджак и, вытащив из кармана маленькую собачку со штопором, проделал дырочку в лацкане и прикрепил дорогую награду. Он посмотрел на Александера, и они оба понимающе улыбнулись.

РЕПОРТАЖ ИЗ ОКНА БАНИ

Мечта о бане не покидала меня.

Но война шла своим чередом, и каждый раз находились причины, отдалявшие эту мечту. Наконец подвернулся случай, и вместе с политруком Леней Дубновым мы отправились в баню.

Нам повезло. Сверх всяких ожиданий мы получили в кассе талончик и, поднявшись на второй этаж, стали обладателями маленького номера с душем и набором шаек.

Пахнуло чем-то мирным и спокойным. Давно забытым шумом отозвались потоки воды, и с каждой минутой — я просто это физически осязал — одна за другой открывались поры тела и жадно, ненасытно дышали.

Было удивительно смешно смотреть на коренастого Леню, обильно покрытого волосяным покровом.

— Жаль, что тебя не может увидеть Дарвин. Он бы лишний раз убедился, что человек произошел от обезьяны...

Отдуваясь и пыхтя, растирая свою грудь, Леня ответил:

— Старо... Слышал... Могу добавить. Разговор мальчика с мамой: «Учительница говорила, что человек произошел от обезьяны». — «Правильно», — отвечает мама. «А почему не все обезьяны захотели стать людьми?..»

Леня лег на скользкую скамейку и, обхватив ее сильными руками, попросил «потереть спинку»...

Я намылил мочалку и едва занес руку, как шайки повалились на пол, покатились с металлическим грохотом. Эхо шума, усиленное в тысячу крат, гуляло по городу вокруг банного островка.

В открытую форточку запотевшего окна было видно, как шли три бомбардировщика. Казалось, что курс их лежит прямо на наш номерок.

Что делать? Бежать в подвал или ринуться в ближайшее бомбоубежище? В таком виде? А может, остаться? Пронесет?

Было смешно и грустно. Намыленные, мы подбежали к окну, распахнули его. Ноябрьский холод студил тело, мыльные лишаи стягивали кожу.

Но мы, по пояс высунувшись из окна, глядели на небо. Со стороны моря появилось новое звено. Оно шло в пучках разрывов зенитных снарядов, все теснее кольцевавших немецкие самолеты. Когда дымчатые облака растаяли, огонь зенитчиков появился впереди. Откуда-то сверху вынырнул наш истребитель и начал заходить в хвост бомбардировщику.

Из окна был виден только краешек неба. Тогда Леня влез на подоконник и, уцепившись за раму, увидел весь поединок. Он кричал:

— Нагоняет. Нагоняет. Совсем близко... Что он делает?..

Вдруг Леня замолк. Я не помню, сколько прошло времени, пока он снова крикнул:

— Он таранил его... Понимаешь, таранил. Я видел! Это удивительно!

Потом прозвучал отбой воздушной тревоги.

Мы не стали домываться. Холодной воды уже не было. Видимо, бомбежка повредила водопровод. А крутой кипяток не обещал ничего хорошего.

Мы растерлись полотенцами.

Вечером пришла сводка «На подступах к Севастополю». В ней был абзац: «В воздушном бою сбит немецкий самолет. Его таранил летчик Яков Иванов».

Редактор Степан Зенушкин, причмокнув, сказал свое любимое:

— Вот это орелик! — И, потеряв подбородок, добавил: — Хорошо бы дать подробности боя... Жаль, не успеем в номер.

И тут прибежавший Дубнов воскликнул:

— Я могу. Я видел.

— Ты же в бане был. Что ты, кроме шаяк, видел? — Зенушкин посмотрел на меня, видимо, ища подтверждения.

Я сказал, как было дело.

— Ну, орелик! Репортаж из окна бани — такого еще не было в истории журналистики. Садись пиши.

Покуда Леня писал, мы созвонились с аэродромом.

Номер уже верстался. Леня принес материал. Зенушкин прочел, снял очки, снова надел их. Было понятно, что он чем-то недоволен.

— Так и я могу написать. Вот поговорил по телефону и могу. Ты ж очевидец. Читатель — народ дотошный. Ему все надо знать! Ты с бани начни...

МОДНИЦА

У Лены Медведковой красивое лицо. Матовый загар подчеркивал овал лица с большими, по-детски открытыми глазами. Она знала об

этом. Ей говорили подруги, те, что не завидовали. А ребята называли ее пчелкой.

Лена одевалась просто, строго. Но ярко.

А денег на покупки в семье не хватало. Тогда Лена научилась шить. Гардероб трех старших сестер становился источником ее обновок. Она умудрялась из старенькой юбки выкроить кокетливую блузку, пришивала цветастый карманчик и в субботний вечер нарядная появлялась на Приморском бульваре, словно выпорхнула только что из ателье.

Девчата считали Лену модницей.

Сперва они подтрунивали над ней. А потом — глядишь, то одна, то другая стали приходить в самоделках, скроенных по фасону Лены.

В институт Лена не поступила. В разгар экзаменов заболела воспалением легких.

Она устроилась чертежницей в конструкторское бюро. Была довольна. Ее огорчало лишь, что на работе приходилось надевать казенный синий халат, как это делали остальные семнадцать подруг. Таков был порядок.

Как-то Лена принесла разноцветные лоскутки и сказала:

— Выбирайте, девчата. И нашейте кармашки. Будет красивей. Так и сделали.

И опять ее продолжали называть — модница.

Когда началась война, Лена пошла работать на второй спецкомбинат. Он разместился в огромных штольнях Инкерманского завода шампанских вин. Здесь шили обмундирование и обувь для фронтовиков. Лена стала закройщицей. И если бы ее воля, то, наверное, у солдатской гимнастерки тоже бы изменился фасон...

Подземный Севастополь трудился круглые сутки. В условиях блокады многое приходилось делать самим.

Однажды комбинат получил задание: срочно изготовить запалы для авиабомб.

Цех, где работала Лена, должен был шить мешочки для этих запалов.

Нехитрое дело оказалось сложным. Даже невыполнимым. На опустевших полках городских складов не было натурального шелка. Эрзацы не годились.

В цехе узнали об этом.

Ждали день.

Ночью Лена вошла в каморку директора комбината и положила на стол розовую блузку.

— Годится?

— Носи на здоровье.

— Для запалов, спрашиваю, годится?

— Вполне.

— Тогда берите.

— А что будет дальше? Заказ-то не штучный!

Лена схватила кофту и, не прикрыв дверь, побежала в штольню, где жили девчата.

Рано утром — ночная смена еще не кончила работу — на доске заводских приказов появилось объявление. Рядом висела шелковая блузка Лены.

«Товарищи! Для спецзаказа нужен шелк. Его нет. А фронт ждет. Сдаю свою блузку. Отзовитесь, девчата! Закройщица Лена Медведкова».

В десять утра груда блузок, кофт, платьев, юбок лежала на столах закройщиц.

Когда машина увозила запалы на аэродром, Лена выбежала из штольни. Она была в тельняшке, моряки подарили.

С той поры ее всегда видели в тельняшке. Но по-прежнему приветствовали:

— Здравствуй, модница!

ТРЕТЬЯ ОШИБКА

Небольшая комната подвала со сводчатым потолком, сохранившим рыжие разводья — автографы сырости, — согревалась железной печуркой. Настольная лампа, прикрытая половинкой абажура, отбрасывала на стену мутно-серую тень склонившейся над столиком женщины.

Уже давно прозвенел звонок, оборвав напряженную тишину в классе, где писали диктант, а учительница все вчитывалась в страницы тетради. Прижав к губам макушку красного карандаша — старая студенческая привычка, — Мария Петровна радовалась, когда карандаш не касался страниц и она могла поставить жирную пятерку, и огорчалась, когда зачеркивала запятую или вставляла пропущенный мягкий знак.

Мария Петровна хотела было рассердиться на ученика, чей диктант опять пестрел ошибками, но, представив лицо Сережи, сидевшего за первой партой, поняла, что сердиться не может.

Мария Петровна знала, что отец Сережи был зенитчиком на батарее, расположенной на Историческом бульваре. Сережа часто навещал отца. То приносил ему крабов или жареную барабульку своего улова, то прихватывал газету для самокрутки. Встречи их были короткими. Правда, Сереже хотелось подольше задержаться здесь, побыть с отцом, но это не удавалось — батарея всегда была в боевой готовности. Он отходил к памятнику Тотлебену и долго стоял, задумчиво глядя на зенитный расчет, среди которого высилась долговязая фигура отца.

Приходя в класс, Мария Петровна по глазам Сережи догадывалась, что он опять был на батарее и видел отца.

Она понимала, как трудно ученикам посещать школу в осажденном городе, делать уроки в каморках убежищ, где ситцевая шторка отделяла жизнь одной семьи от другой,— и не могла сердиться.

В таком же убежище ютилась она сама. Мария Петровна несколько раз отказывалась от настойчивых предложений эвакуироваться. И была рада, что ее наконец оставили в покое до «критического момента», как выразился руководящий товарищ. Хотя каждый знал, что критический момент для севастопольских школ наступил давно — в первый день войны.

К вечеру Мария Петровна почувствовала усталость, в висках постукивали молоточки. Она собрала тетради в потертый портфель, на котором поблескивала монограмма — подарок школьников в день ее пятидесятилетия,— и по крутой лестнице вышла на улицу.

От школы до убежища надо было пройти два квартала. Она шла медленно, глубоко вдыхая свежий воздух, и не торопилась попасть из одного подземелья в другое. На Приморском бульваре Мария Петровна села на скамейку.

Море колыхалось от мертвой зыби, монотонно шурша прибрежной галькой.

Покой длился недолго.

Воздушная тревога взбудоражила город.

Мария Петровна побежала по набережной к Сеченовскому институту.

Вблизи раздался пронзительный вой. Все вокруг засвистело, застонало.

Марию Петровну бросило наземь, поволокло куда-то горячим потоком взрывной волны.

Черно-синий дым окутал берег.

Мария Петровна поднялась, деревянно ступая онемевшими ногами. В стороне, у холмика клумбы, она увидела свой распахнутый портфель. То там, то здесь валялись помятые, с оторванными страницами тетради.

Растерянно щурясь за мутными от дыма и пыли стеклами очков, она стала их собирать.

В наступившей темноте Мария Петровна с трудом добралась в убежище.

Ранним утром в отсеке коменданта выдавали хлеб.

Мария Петровна полезла в портфель за хлебной карточкой, но боковой кармашек был пуст. Сразу как-то зябко свело плечи: до конца месяца оставалось еще тринадцать дней. Скудный хлебный паек отпускали только по карточке — бумажке розового цвета, которой теперь у нее нет...

Мария Петровна побежала на бульвар, где разметало ее портфель. Она не верила, что найдет карточку, но решила искать — авось улыбнется счастье. Обшарив все вокруг, она подумала: может, кто-

либо подобрал и не знает, кому вернуть. Эту малоутешительную мысль вытеснили другие — взрывная волна могла забросить карточку в море, осколки могли разорвать ее в клочки.

Надо было идти в школу. Складывая тетради в портфель, она обнаружила, что ко всему еще пропали две тетради, в том числе Сережина.

Мария Петровна вошла в класс и, стараясь не глядеть на первую парту, стала раздавать тетради. А потом сказала:

— Вчера во время бомбежки я потеряла две тетради. Сегодня я их искала и не нашла. Так что, Сережа и Лена, вы уж меня простите...

— А у меня есть ошибки? — спросил Сережа.

— Есть. Одна лишняя запятая — это я помню точно. Потом, слово «рассчитывать» ты написал через одно «с»...

— И все?

— Нет, была еще третья ошибка. Но я забыла.

Когда кончились уроки, Мария Петровна задержалась в классе. Вырвав листок из тетради, она написала: «Дорогой товарищ! Во время тревоги я потеряла хлебную карточку. Если вы нашли ее — прошу прислать в убежище № 2. Буду благодарна вам за чуткость и доброе сердце. Учительница М. П. Деменчук».

Приклеив объявление к колонне Графской пристани, она вернулась домой. Нашла в тумбочке четыре кусочка сахара — остаток недельного пайка — и, съев их, легла спать. Уткнувшись лицом в подушку, она долго не могла уснуть. Все время мерещилась белая колоннада пристани и листок в косую линейку, где красный карандаш призывно останавливал: «Дорогой товарищ!..»

Мария Петровна все спрашивала у коменданта, нет ли ей писем или записки, но скоро перестала спрашивать. И только отсчитывала дни, отделявшие ее от марта, когда она снова получит розовый листок и поест хлеба, вкус которого стала забывать.

В один из дней Мария Петровна пришла из школы рано. Лицо ее пожелтело, под глазами появилась бледная синева. Войдя в свою каморку, она увидела на тумбочке пакет, развернула его. В нем лежала буханка хлеба и короткая записка: «Еште на здоровье». Подписи не было.

Мария Петровна сняла помутневшие от слез очки и, привалившись к спинке кровати, перечитала записку. Рука ее машинально потянулась к красному карандашу, чтобы в слове «еште» вставить мягкий знак. Но карандаш выпал из ее руки.

Прежде чем лечь спать, Мария Петровна повторила вслух: «Напомнить Сереже, что в повелительном наклонении глагола мягкий знак перед окончанием «те» сохраняется».

Это была его третья ошибка.

СТО ОДНА ПРИЧЕСКА

Кажется, никто не знал, как зовут этого человека. К нему просто обращались: «Товарищ Жан».

Он усаживал клиентов в кресло и, окинув быстрым взглядом давно не стриженную голову и густо заросшие щеки, говорил:

— Если б вас царапнул осколок — вы бы давно сделали перевязку. А вот эту операцию, — движением пальцев он изображал ножницы, — вы считаете самой опасной... Посмотреть на вас — не скажешь, что трус...

Клиент пожимал плечами, не зная, что ответить.

— Не будем спорить, — продолжал товарищ Жан. — Сейчас я из вас сделаю человека.

Набросив на клиента салфетку, он уходил за ширму и возвращался с бритвенным прибором. Потом артистично правил бритву о широкий матросский пояс, прикрепленный к мраморной тумбочке. Над ней висело треснутое зеркало, заклеенное крест-накрест полосками бумаги.

В зале парикмахерской стояло шесть кресел. Но работали всего два мастера: товарищ Жан и молоденькая девушка с рыжими косами.

Люди, ожидавшие своей очереди, толпились в маленьком коридоре. Еще совсем недавно перегородка была закрыта матовыми стеклами. Теперь остались только переплеты оконных рам.

Над дверью парикмахерской висела разбитая вывеска с уцелевшими буквами: «Пар», рядом сквозь облезшую краску здания пробивалась старая надпись: «Парикмахер Жан».

Отсюда, очевидно, и пошло это обращение: «Товарищ Жан».

Мастер работал быстро.

На его худом вытянутом лице поблескивали очки — товарищ Жан был близорук. Он вглядывался в лицо клиента, словно смотрел в микроскоп.

В кресло сел лейтенант в забрызганных грязью кирзовых сапогах. Мастер определил:

— Бобрик номер три...

Что скрывалось за этим шифром, лейтенант не понял и попросил:

— Вы уж побольше снимите... Когда еще попаду... Мы за Инкерманом стоим...

Товарищ Жан оживился. Под звук щелкающих ножниц он пояснил:

— Ин — означает пещера, кермен — крепость... Так вот запомните, дорогой друг, крепость... Височки оставим прямые?

Лейтенант молча кивнул.

— В этом самом кресле недавно сидел один клиент. Признаюсь, у меня руки дрожали... Я тридцать лет работаю на ниве помазка и ножниц. А тут оробел. Вы думаете, я брил командующего флотом?

Так нет. В кресле сидел внук Петра Кошки. Того самого Кошки... Павел Федорович Кучер... Это ж надо! Такая встреча. Я ему сделал польку. Очень к лицу... Из каких мест прибыли к нам?

— Из Ярославля.

— Красивый город... Слышал. Но лично не был... Компресс не желаете? Освежает...

— Да, да, — пробурчал лейтенант.

Товарищ Жан принес эмалированную кружку и, окунув салфетку в горячую воду, помахал ею. Приложив компресс к обветренному лицу, он глянул на кресло, где работала девушка с рыжими косами, и посоветовал:

— Надюша, капитан-лейтенанту самим богом рекомендовано оставить усы. Конечно, в пределах нормы...

— Я тоже так думаю, — согласилась Надя, чуть покраснев от неожиданного вмешательства старого мастера.

Он снова склонился к клиенту:

— Это было весной двадцать первого года... Пришел человек, сел в кресло и спокойно попросил: «Наведите порядок». Раз человек просит — надо сделать. Я смотрю — знакомое лицо... А вспомнить, где видел — не могу. Я, конечно, сделал порядок. Он встает, расплывается. Потом говорит: «Приходите сегодня в театр. Я скажу контролеру». Так вот вопрос — кто был этот клиент? Не надо гадать. Я скажу вам сам... Великий русский певец Эл Собинов... Ах, какой это был Ленский!

Лейтенант внимательно выслушал мастера и, уже вставая с кресла, спросил:

— Как же вы узнали, какой порядок любит Собинов?

— Вопрос на сообразительность... Я вам открою профессиональную тайну. На одной голове можно сделать сто одну прическу. И я угадал... — Он развел руками. — Чутье!

Вечером товарищ Жан закрыл парикмахерскую и приклеил к дверям листок. На нем было написано: «Уехал на фронт. Там тоже надо навести порядок».

С фронта он не вернулся.

ПТИЧИЙ ВЗВОД

Командир взвода Иван Буров распахнул дверь землянки и прищурил глаза от нахлынувшего света.

Он посмотрел на небо. Оно было высоким, каким и положено быть солнечному небу.

Буров приложил ладонь к переносью и, сколько хватило сил, смотрел на весеннее солнце.

Буров наслаждался тишиной, такой неожиданной после прохладной ночи, с мертвыми всплесками ракет и минометным обстрелом.

В эту ночь все обошлось. Все остались живы. И это уже было хорошо. Просто прекрасно.

Буров зашагал к окопам, где сейчас его хлопцы будут обедать. Он шел, не выбирая дороги.

Голенища командирских кирзовых сапог были приспущены гармошкой. Местами земля просохла, а чуть низина или овражек — сапоги глубоко вдавливались в грязь и с хлюпом отрывались.

У пригорка, где рос мелкий дубняк, вспыхнувший младенческой листвой, он остановился, любовался красотой, которой война отпустила короткий век — до первого обстрела, — и направился к окопу.

Я встретил Ивана Бурова, когда он спускался с пригорка.

— С погодкой вас!

— Да, буйствует весна... Аж сердце заклешнило! Пошли, пообедаем, — предложил Буров.

Мы шли мокрой низиной.

— Теперь легче будет? Как считаете? — спросил я.

— Нам-то что? Где сухо — там брюхом, где мокро — там на коленках.

— Хочу про вас написать, про ваш взвод.

Буров повел плечами и осторожно спросил:

— Приказано?..

— Зачем же сразу — приказано?

— А о чем писать? Воюем. Ничем особым хвалиться не могу.

Мы шли молча, все ближе пробираясь к переднему краю. Неожиданно Буров остановился и, заломив фуражку, сказал:

— Если, конечно, в корень глядеть, то взвод у меня особенный, приметный. — Он усмехнулся. — Птичий взвод.

— Как это понять?

— Просто. Судите сами... Голубев, Орлов, Воронин, Скворцов, Журавлев, Ласточкин. Синица тоже есть. Чем не птичий взвод?

— Укомплектовали. Нарочно не придумаешь!

— Я вам список дам... — Буров заметил, что я вынул блокнот. — А то еще спутаете. Помните Чехова... Лошадиная фамилия... — Он довольно засмеялся. — А в остальном — нормально. Воюем. — Буров вскинул голову к небу и чуть приоткрыл рот, словно пил струящийся весенний воздух.

Он поглядел вдаль и дернул меня за рукав:

— Смотрите! Смотрите! Журавли!

Журавли летели своим древним строем. До нас доносилось их курлыканье. А вожак, тот, что летел впереди треугольника, подавал свой трубный голос. Птицы взмахивали крыльями, будто видели нас и тоже были рады встрече.

Летят, курлычут журавли.

Летят, как летели здесь и тысячу лет назад. Летят в свою пору.

Летят в своем небе, не зная, что творится на земле. Война или чума, горе или голод...

Они летят потому, что журавлиное сердце почуяло весну. И не лететь они не могут.

Красиво летят журавли.

У каждой стаи свой вожак. Он часто оглядывается.

А если кто из молодых с неокрепшим пером отстанет в пути, выйдет из строя, устало замашет крылом, подлетят к нему старые мудрые птицы и станут призывно курлыкать: «Держись, хороший, держись!»

Вдруг со стороны немецких окопов в небо потянулись трассирующие пули.

Небо наполнилось тревожным шумом. Птицы заметались, сломали четкий рисунок древнего треугольника. А вожак круто развернулся и повел стаю в море.

Трассирующие пули немцев полосовали небо.

Журавли удалялись, стараясь собраться в строй.

Покуда я наблюдал за ними, Буров убежал к своим. Из окопов открыли огонь по немцам.

В небе сразу погасли огни трассирующих пуль.

Остался только чуть-чуть задымленный над линией окопов горизонт.

Я подумал: «Вожак журавлей, наверно, понял, что птичий взвод командира Букова открыл им дорогу».

Журавлиная стая поднялась ближе к солнцу и опять легла на курс дедов и прадедов.

Журавли пролетели над морской пехотой.

В этот день обед задержался. Ненадолго. Когда пролетели журавли, кок открыл термос, пахнуло горячими щами. Пехотинцы вытащили из-за голенищ ложки и наполнили котелки. Восемь буханок хлеба разошлось по рукам.

Ели все молча, изредка поглядывая на небо.

Под конец обеда Буров окликнул рослого пехотинца:

— Журавлев! Свояки полетели. Чуешь?

Пехотинец смачно облизнул ложку и сказал:

— Наши-то долетят!

СВОЙ ПОЧЕРК

Была ночь.

Немцы могли считать ее юбилейной. Девять месяцев назад они напали на нас.

Сирена Морзавода прокричала в ночи тревогу, оставив в небе облако лохматого пара. И сразу купол неба вспыхнул огнями прожекторов, бесконечными пунктирами трассирующих пуль.

Наверху нарастал, сплетался гул немецких бомбардировщиков и наших истребителей. Многоголосый и тревожный, он долетал до земли и никак не мог раствориться в темноте.

На какое-то мгновение фиолетовые стволы прожекторов, высокие, как корабельные мачты, уперлись вершинами в ночное небо. Потом они лихорадочно заматались по далекому, сразу посиневшему облачку.

Прошла секунда, две, еще несколько, и прожекторы посеребрили самолет. К нему устремились разноцветные точки и тире. Казалось, зенитчики шлют смертоносный ливень телеграфным текстом, смысл которого: «От нас живым не уйдешь».

Световая морзянка еще не поставила точки, а «хейнкель» уже стал падать.

Охваченный огнем, он старался уйти в темноту.

Прожекторы проводили его до земли, как бы поддерживая на упругих световых волнах.

Самолет рухнул на привокзальную площадь, разметав горящим крылом давно пустующие пригородные кассы.

Еще не успело погаснуть эхо взрыва, а в небе вдруг вспыхнул световой крест.

Фиолетовый луч резанул горизонт, затем перечеркнул эту полосу сверху вниз.

Лучи прожекторов переместились в другой воздушный сектор. Они взметнулись над Малаховым курганом. А я все еще глядел на небо, где минутой раньше кто-то вывел световой крест, неожиданную концовку скоротечного боя.

Утром в редакцию позвонил командир зенитного полка. Он был явно недоволен сообщением газеты об отражении налета немцев.

— Опять все летчикам приписываете! Нам чужая слава не нужна. Только зачем наше отнимать? Несправедливо! — И все так же возбужденно пригрозил: — Теперь во время налета не будем стрелять в зоне редакции. Пусть вас летчики охраняют.

— Сводка в штабе получена.

— Все равно обидели.

Я вспомнил про световой крест и спросил у командира:

— В небе действительно кто-то начертил крест или мне почудилось.

— А как же! Спасибо, что это хоть заметили.

— Случайно крест получился?

— Это наш Пимен расписался. Его почерк...

Голос командира неожиданно умолк. Я несколько раз прокричал «Алло», но никто не ответил. Я положил трубку и стал вспоминать номер полкового телефона.

Но в это время завывала сирена Морзавода. И мне было уже не до этого.

И все-таки я узнал историю небесного креста. Позже, но узнал. Матвей Полосухин приехал в Севастополь с верховья Иртыша, когда война уже началась. Два месяца призывная повестка лежала на комоде в горнице новой хаты, по сосновым половицам которой, постукивая костылями, передвигался Матвей.

Окна хаты глядели на реку. С вечера отец Матвея зажигал перед ними бакен и плыл на шлюпке дальше к речным маячкам, оставляя за собой веселые подрагивающие огоньки.

Взгляд Матвея упирался в баржу, лежавшую на отмели. Из-за нее-то он и сломал правую ногу. Подвыпивший капитан буксира потащил баржу на песчаную отмель.

Услышав тонкий писклявый гудок буксира, зовущий на помощь, Матвей с отцом подплыли на шлюпке к месту аварии.

Капитан хлопотливо бегал по палубе и, чертыхаясь, отдавал приказания команде. Буксирный трос натягивался до предела, но баржа словно приросла к грунту. Матвей взобрался на баржу, чтобы помочь, и в это время лопнувший трос стеганул его по ноге.

В районной больнице Матвею наложили гипс и велели лежать. Призывная повестка дожидалась его выздоровления.

В августе Матвей пришел в сельсовет и сдал свои секретарские дела молчаливой Дусе, дочери колхозного агронома.

Учебный отряд, куда попал Матвей, гудел, как улей. Сюда приходили новобранцы. За плечами у них висели тощие «сидоры». Новичков вызвала комиссия и определяла место их воинской службы.

Матвей подал документы. Майор посмотрел их и спросил:

- Грамотный?
- Вроде бы...
- А ногу чувствуешь?
- Опять моя.

Майор взял листок бумаги и сказал:

- А ну-ка, напиши пару строк. Откуда родом и адрес родителей. Матвей написал.

— А ты, брат, писарь первой статьи.— И, посоветовавшись с очкастым интендантом, сказал: — Направляем в прожекторный дивизион.

То ли справка врача помешала, то ли каллиграфический почерк Матвея сыграл решающую роль, но в морскую пехоту он не попал, а стал писарем.

Бывало, глянет командир на страницы, исписанные Матвеем, и говорит:

- Никакой машинки не надо.

Матвей тяготился своей писарской долей. В сердцах ругал пьяненького капитана буксира, по чьей милости шла за ним следом медицинская справка.

К счастью, никто из дружков не перемывал его косточки: «Экий битюг, а в бумагах зарылся». Бывает с людьми всякое.

По тревоге Матвей прибегал на прожекторную станцию. Он хотел помочь ребятам, но все номера были расписаны. Ему оставалось только следить за их работой. Представив себя на месте любого, он чувствовал, что дело ему с руки.

Матвей написал рапорт, просил перевести его в прожектористы. Прочитав бумагу, командир сказал:

— Это как понимать? Ты военный писарь. Не в лабазе служишь! Военную переписку не всякому доверить можно. Уяснил?

Тогда он решил взять командира измором. Каждые три дня он приходил к нему на доклад и, подписав все бумаги, клал на стол рапорт, написанный четким, с ровным нажимом почерком.

Однажды командир застал Матвея на прожекторной станции.

— А что здесь Матвей одиннадцатый делает? — спросил он командира станции.

— Разрешите узнать: почему одиннадцатый?

— А как же его величать? Одиннадцать рапортов подал. Стену оклеить можно.

— Прижился он у нас, — сказал командир станции. — Может, уважим?

— Ну что же, насильно мил не будешь... Значит, не пришелся я по душе, — усмехнулся командир дивизиона.

— Извините, конечно, товарищ майор. Только здесь к войне ближе, — сказал Матвей.

Командир дивизиона отошел в сторону, потом вернулся и спросил:

— А как же твой почерк? Пропадет талант?

— Ничего, товарищ майор. Я и здесь распишусь!

Матвей никогда не бросал слов на ветер.

В эту мартовскую ночь, ночь его боевого крещения, он расписался. Не за себя. За севастопольцев.

Голубой крест в небе над могилой сбитого «хейнкеля» принадлежал Матвею.

ПРОМОРГАЛА...

Когда влюбленные в свой город севастопольцы перечисляли все его достопримечательности, наряду с Графской пристанью или Малаховым курганом они никогда не забывали похвалиться трамваем. Они, конечно, знали, что в Москве, скажем, или в Ленинграде вагоны добротнее и красивее, и колея там пошире, и, наверное, в часы «пик» нет такой давки. Но...

И тут начинался рассказ про маленькие открытые вагончики — ну прямо игрушки, — которые домчат вас до Балаклавы или без единого

рывка, плавно спустят по крутой дороге к вокзалу, раскинувшему платформу у кромки Южной бухты.

Еще до войны я слышал разговор двух старожилов. Они стояли у Исторического бульвара и добрым взглядом проводили трамвай, убежавший в Балаклаву.

Седоватый человек в панаме сказал:

— Трамвай — это мебель улицы.

Я не знаю, какой номер билета попал в руки пассажира, который последним уезжал в последний мирный субботний вечер — после него наступила самая короткая ночь войны. Вряд ли он был счастливым.

В один из мартовских дней буйный аромат цветущих акаций и миндаля все-таки потеснил стойкий запах гари и дыма, пропитавший воздух Севастополя.

Весна перелистывала свой неизменный календарь. Сама того не зная, она отсчитала сто тридцать шестой день обороны Севастополя, ставший для трамвайщиков города своего рода юбилейным.

Правда, трамвай уже не мог бегать на свидание с Балаклавой. Там была линия фронта.

Но то, что он жил и добрые вагоновожатые часто дарили улицам звонкую трель, хотя никто не перебегал пустынную дорогу, — все это оживляло город.

Я шел по улице Ленина. У остановки меня нагнал трамвай.

Чернявая кондукторша в телогрейке, высунувшись из окна, смотрела куда-то назад.

— Билетик! — я протянул ей монету.

Она все еще продолжала смотреть, потом наконец взяла монету и оторвала билет.

— Убить меня мало, — сокрушалась кондукторша. — Проморгала.

— Кого?

— Вам не встречался краснофлотец? Он с палкой. Прихрамывал.

— Не заметил.

— У площади Коммуны сошел.

— Ну и что?

— Эх, какой ты непонятливый. А еще командир, — неожиданно обрушилась хозяйка трамвая.

Я попробовал отшутиться:

— Раньше говорили: «А еще в шляпе».

— Говорю, проморгала...

Покуда мы ехали, она успела рассказать:

— Едем мы, а я на улицу гляжу — чего немец натворил. На углу вижу: краснофлотец идет, ковыляет. Остановились. Я кричу: «Садись, подвезем». А он мнетя. Я опять зову. Тут он сел. Стоит на площадке, а в вагон не входит. «Чего, — говорю, — стоишь, садись. И нога у тебя не в порядке». А он вывернул карман: «Из госпиталя я. На батарею добираюсь». Я для порядка билет оторвала, даю ему. Он еще спасибо

сказал. Лицо у него симпатичное, врать не буду, загляделась. Только хотела поговорить с ним, а он сходит. «Здесь, — говорит, — буду оказию ждать». Посмотрела я ему вслед — поехали. И только тут спохватилась. Я ж ему миллионный билет оторвала. А мне начальник наказывал: как вручишь, запиши, кто он есть. Это, мол, для истории важно... А я проморгала.

— Ну-ка остановите трамвай!..

Я выскочил на дорогу и побежал к площади, где краснофлотец мог ожидать оказию.

На площади я встретил патруль. Спросил про моряка.

— Минут десять как уехал. Посадили на грузовик.

Я рассказал про историю с билетом.

— Вот дуреха. И чего убивается! Пусть пишет: Сидоров Андрей Иванович, — сказал патрульный.

— Ты ж не ездил. Мы с утра на посту, — засмеялся его друг.

— Какая для истории разница? И я севастополец, пусть пишет. Все будет верно!

МИНУТА — ЭТО МНОГО

Краснофлотец Падалкин утюжил аэродром.

Сидя за рулем трактора, тянувшего железобетонный каток, он заравнивал рыжее поле аэродрома.

Падалкин развернул машину к седьмой воронке. Но тут же затормозил: прямо на него шел истребитель. Он был подбит, не мог выпустить шасси и сел на брюхо. Самолет прополз до воронки, шумно споткнулся, скапотировал и начал гореть.

Падалкин бросился на помощь.

Летчик выбрался из кабины и, сильно прихрамывая, замахал рукой. Подбежав ближе, тракторист услышал:

— Живой я! Живой! Машину спасай!

Тут же примчались «санитарка» и техники.

Сестра, увидев кровавый след, пыталась посадить летчика в «санитарку», но он отвел ее руку.

— Машину спасайте! — крикнул он и потерял сознание.

Когда погасили огонь и в клубах желтой пыли скрылась «санитарка», тракторист подъехал к месту катастрофы. Сперва пригладил взъерошенную землю, забрызганную кровью. Потом заравнял проклятую седьмую воронку.

Неожиданно вспомнился случай. Это было до войны.

Падалкин ехал в автобусе. Рядом, у окна, сидела девочка. Ее пухленькие ручки были вымазаны чернилами.

Улицу оглушил рев сирены. Обгоняя автобус, промчалась «скорая помощь».

Девочка прильнула к окну, потом выбросила вперед свои пухленькие ручки, сделала два кукиша и быстро, совсем не запинаясь, заговорила:

— Чур, не моя беда... Чур, не моя беда...

Падалкин подумал: «Где теперь эта девочка?»

И словно наяву увидел два кукиша с чернильными пятнами, сердито сплюнул... «Теперь все беды — наши».

Падалкин пытался представить, какой в детстве была медсестра, что сейчас увезла летчика. Может, и она показывала кукиш чужому горю?

Заровняв летное поле, Падалкин повел трактор к капонирам.

В безоблачное небо взлетели три самолета, оставив на земле медленно плывущие облачка пыли, просвеченные солнцем.

Он лег на мятую, припудренную рыжей пылью траву и закрыл глаза.

Он не спал уже третьи сутки. Все время вражеские самолеты уродовали аэродром.

Он не уснул бы и сейчас, если б даже приказал командир. Бессонницу приказом не лечат.

Он открыл глаза и посмотрел в небо.

С той поры как началась война, Падалкин невзлюбил его. Давно уже длится поединок трактора с немецкими самолетами.

В полдень двадцать «юнкерсов» обрушились на аэродром. Они изрыли землю, засеяли ее миллионом горячих осколков.

Падалкин вскочил в трактор и повел его к воронкам. Сколько их теперь?

Он разминал земляные бугры, заваливал ямы, утюжил глубокие шрамы.

Он торопился. Вот-вот сейчас будут возвращаться свои и не смогут сесть.

А в небе снова заурчали два «юнкерса». Теперь их мишень — Падалкин. Его трактор. Его каток.

Упали три бомбы. В стороне. Но осколок пробил радиатор. Мотор заглох.

Падалкин побежал к капонирам, пригнал новую машину, прицепил каток и стал заравнивать полосу.

В небе появились наши самолеты. Они летели домой.

А домой нельзя.

Падалкин это знал. Он знал и другое. Горючее у них на исходе.

Война отпустила ему минуту. Две. Самое большее — три. Сколько это — много?

Трактор полз медленно, не понимая беды.

Падалкин перевел рычаг скорости. Трактор рванулся, быстрее завертелся каток, прижимая вздыбленную землю.

Самолеты пошли на посадку.

Падалкин отвел трактор на край летного поля.

Сели самолеты. Все.

К трактористу прибежала медсестра Лена.

— Как же ты успел? Всего несколько минут и... — Она замолчала, вытерла платком его мокрое лицо.

— А минута — это много?

Лена взяла руку Падалкина, нащупала пульс и, посмотрев на часы, стала отсчитывать удары. Потом сказала:

— Сто четыре.

— А надо?

— Семьдесят шесть.

— Минута — это много... — улыбнулся Падалкин.

ЗА ПРЕДЕЛАМИ СВОДКИ

Они встречались каждый день в десять часов вечера. Это время было установлено давно. Секретари райкомов имели определенный час для беседы с руководством города.

И как бы ни складывались дела, Лопачук — секретарь Центрального райкома партии — ровно без двадцати десять выходил из райкома и шел на улицу Карла Маркса к секретарю горкома Борисову.

Ему хватало двадцати минут, чтобы дойти не торопясь — хотелось подышать воздухом — и явиться вовремя.

Лопачук всегда готовился к этой встрече. Он обстоятельно докладывал о том, как прошел день в районе. Возникало много вопросов, предложений. Их следовало обсудить.

И, конечно, Лопачука интересовало положение на фронте под Севастополем, которое Борисов знал досконально. И всегда рассказывал о нем подробно, правдиво, «без розовых очков». Это было его любимое присловье.

Пустынные улицы, уставшие от бомбежек и обстрелов, погрузились в темноту летней ночи.

Лопачук вышел из подземного КП и поглядел на небо. Серпик луны горел вполне накала, бросая скупые блики на разодранный купол Владимирского собора.

Лопачук перешел через дорогу и вдруг услышал крик. Он осмотрелся, но никого не увидел и пошел дальше. Через минуту снова слышался плачущий голос. Он становился громче, потом захлебнулся в ноющем рыдании.

Лопачук, вглядываясь в ночную мглу, крикнул:

— Кто там?

Никто не ответил.

Он хотел уже двинуться дальше, как откуда-то со стороны разрушенного дома выбежала женщина и заметалась по мостовой.

Лопачук подошел к ней. Она отскочила и, сорвав с головы платок, истошно закричала:

— Лена! Леночка!

Потом нагнулась, пошарила по мостовой и, схватив камень, бросила его куда-то в небо, снова нашла камень и опять швырнула. Она дышала тяжело, прерывисто. Из груди вырывался хрип.

— Что с вами? — спросил Лопачук.

Она хихикнула:

— Почему ты не стреляешь в фашистов?.. Я уже троих убила...

И, снова бросив камень, тут же упала на мостовую, забилась в истерику. Сквозь плач прорывалось одно имя: «Лена!»

Лопачук поднял женщину и, обхватив руками, спросил:

— Что случилось?

Она ничего не ответила. Голова ее склонилась ему на плечо.

Он вспомнил, что рядом городская больница, и решил отвести ее туда.

— Пойдемте, я провожу вас.

Женщина стояла тихая, покорная, измученная.

Лопачук взял ее за локоть и сделал шаг. Она не двинулась. Тогда он поднял ее на руки и понес в больницу.

Когда дежурный врач осмотрел ее, он вышел в приемную к Лопачуку.

— Лишилась рассудка.

Подошла старая няня и сказала:

— Это Матвеева. Я ее знаю. У нее сегодня дочку убило. Леночкой звали...

К секретарю горкома Лопачук пришел после двенадцати.

Борисов сидел в своем отсеке и читал сводку МПВО за минувший день. Там было сказано: «Противник сбросил 41 фугасную бомбу. Есть жертвы...»

Матвеева среди них не значилась.

МИЛЛИОНЕРША

Елена Антоновна Лапинская никогда не имела текущего счета в банке и не была вкладчиком сберкасс.

Все ее денежные операции ограничивались тем, что два раза в месяц она подходила к окошечку кассы и, получив зарплату, шла в магазины. Бюджет ее не выходил за пределы трехзначных цифр. Где-то в глубине души она считала кассиров людьми особенными; им снятся разноцветные пачки купюр и каждый раз после ухода из кассы охватывает тревога, хорошо ли заперт сейф...

Всю оборону Севастополя Елена Антоновна была инструктором райкома партии, которому отвели отсек в штольне городского

комитета. Чтобы попасть туда, надо было пройти мимо двери, обитой железом. На ней висела табличка: «Госбанк».

Изредка, выходя в коридор штольни попить воды, она видела пожилого человека в очках с конторскими нарукавниками на потертом пиджаке. Они здоровались, и он неизменно задавал один и тот же вопрос:

— Неужели немцы прорвутся?..

Так она познакомилась с хозяином железной двери. В одном лице он совмещал всех банковских работников: кассиров, бухгалтеров, операторов и ревизоров.

В маленьком отсеке возвышались коричневые сейфы. На столе рядом с керосиновой лампой лежал табель-календарь. Весь июнь был заштрихован красным карандашом. Остались только последние две клеточки.

В эти дни ему все реже и реже приходилось открывать сейфы, набитые деньгами. По мере того как ожесточились бои и немцы продвигались к окраинам города, сокращались финансовые операции.

Поздно вечером он вошел в отсек председателя городского комитета обороны и спросил:

— А что будет с деньгами?.. Если немцы все же прорвутся...

Он больше ничего не спросил, ибо боялся, чтобы, не дай бог, его не заподозрили в желании уехать из города в эти трагические дни. Он протер очки и ждал ответа.

Борисов встал со стула и сказал:

— Я понимаю вас, Николай Петрович... Потерпим до завтра.

Утром сводка Информбюро сообщала: «На Севастопольском участке наши войска отбивали многочисленные атаки превосходящих сил противника. Противник ввел в бой новые резервы, и ему, ценой больших потерь, удалось несколько продвинуться вперед. Бои носят исключительно ожесточенный характер...»

Николай Петрович весь день был занят подсчетом денег, перевязывал их в пачки и ждал распоряжения...

Вечером раздался стук в дверь. Он открыл ее и увидел взволнованную Елену Антоновну.

— Нам приказано доставить деньги на Большую землю...

— Когда?

— Сегодня ночью...

— Кто же повезет?

— Мы вдвоем...

— А охрана? Здесь — миллионы... — Он растерянно развел руками, указывая на сейфы.

— Все, кто может стрелять, защищают город...

Елена Антоновна не стала рассказывать, что примерно такой же разговор у нее состоялся с Борисовым, что другого выхода нет.

Ей не было страшно выйти на улицу, объятую огнем, но пугала любая слепая случайность, которая могла бы привести к потере денег.

В отсеке Госбанка, увидав сейфы, Елена Антоновна испугалась еще сильнее.

Неожиданно сюда вошел Борисов и торопливо сказал:

— Уходите ночью на подводной лодке... Ни пуха ни пера...

С потолка отсека громко падали капли мутной воды, глухо отсчитывая секунды.

Собирались быстро. Николай Петрович вытащил из кармана связку ключей и дрожащей рукой открыл сейфы.

В углу лежали плотные брезентовые мешки с металлическими задвижками. Он поднял один мешок и стал вытаскивать из сейфа пачки денег.

— Что же вы стоите? Наполняйте мешки! — сказал он.

— Мы не будем считать? — спросила Елена Антоновна.

— Боже! — удивился Николай Петрович. — Тогда мы не уедем и послезавтра...

Елена Антоновна молча стала наполнять мешки.

Николай Петрович поставил два мешка у входа и сказал:

— Двадцать лет я сидел в нашем Госбанке и только один раз просчитался на два рубля... Вы мне не доверяете?..

Ночью — хотя какая это ночь, когда вокруг все горело и небо полыхало яркими отсветами пожарищ — они погрузили пять мешков на машину и двинулись к бухте, где стояла подводная лодка. Елена Антоновна держала в руке пистолет.

На Стрелецком шоссе машина остановилась.

Где-то впереди разорвался снаряд. Шофер выжидал.

К машине подбежали несколько человек и пытались взобраться в кузов.

Елена Антоновна вскочила и крикнула:

— Нельзя! Здесь динамит!.. — И сама не понимая, как это случилось, выстрелила в темноту.

Шофер рванул машину вперед.

В бухте их уже ждали.

Через два дня они пришли на Большую землю.

Когда добрались до Краснодара, лицо Елены Антоновны впервые просветлело. Но тревога не покидала ее до тех пор, пока мешки не втащили в кассу Госбанка.

В полдень рука ее держала приходный ордер: «Получено от Севастополя пять мешков денег, всего на сумму...»

Николая Петровича окружили эвакуированные сослуживцы, а Елена Антоновна, спрятав расписку в партбилет, вышла на улицу. Здесь у подъезда ее остановил милиционер.

— Интересуюсь... Сколько миллионов вы сдали? Рублями или сотенками?..

— Миллионеры денег не считают, — весело ответила Елена Антоновна, сошла с крыльца, села на лавочку тут же возле входа, откинулась на шаткую стенку и сладко уснула.

ПРОСЬБА

Города уже не было.

Он только значился на карте у кромки Черного моря.

Бой шел среди руин.

Сводка Совинформбюро сообщала: «На Севастопольском участке фронта противнику, ценой огромных потерь, удалось продвинуться вперед. Шли ожесточенные рукопашные бои».

Степан Климов не слышал этой сводки. Он лежал в овраге у Стрелецкого шоссе, прикрывая руками рану на животе.

Еще три часа назад он получил приказ взорвать подземный завод.

Главный вход немцы уже обстреливали прямой наводкой.

Степан обошел штольни и, убедившись, что все люди выведены через выход, пробитый в железнодорожный туннель, включил рубильник. Потом побежал по штрекам, бледно омытым желтоватым светом карманного фонаря.

Сквозь подкову туннеля Степан увидел небо. Такое же, как сейчас, — задымленное, в огненных отсветах.

Грохот взрывов качнул скалистую землю.

К Стрелецкому шоссе Степан добрался на попутном грузовике. Но потом осколком пробило мотор, и он пошел к Херсонесу пешком.

Черное от копоти и гари лицо бугрилось каплями пота, и встретить его родная мать — прошла бы мимо.

Дорога обстреливалась слева и справа. Небо и землю терзали бомбардировщики.

У оврага Степан оглох от близкого взрыва, качнулся и, скрючившись в острой судороге, рухнул на край обрыва.

Он пытался за что-то уцепиться, но все завертелось, и он скатился вниз.

Какое-то время Степан лежал без памяти. Потом очнулся и, царапая руками землю, стал карабкаться вверх. Только при третьей попытке — теперь он уже полз на спине, отталкиваясь ногами, — Степан выбрался из могильного оврага.

— Люди... — простонал он.

Никто ему не ответил. И он опять, теперь уже громче, позвал:

— Люди!..

А рана все разгоралась, лужица крови становилась больше и больше.

Степан понял, что он не жилец.

Собрав остатки сил, он поднялся на колени и пополз к дороге.

Кто-то тронул его рукой. Степан открыл помутневшие глаза и увидел над собой матроса.

— Да, браток, разворотило тебя... А медицины-то никакой...

Степан посмотрел на автомат матроса и окровавленной рукой коснулся дула.

— Пристрели...— он закрыл глаза.

Матрос испуганно отдернул автомат:

— Не могу, браток...— и, не оглядываясь, убежал.

Самолеты шли низко, почти на бреющем полете.

— Люди!..— звал Степан.

К нему подбежал майор в разорванной гимнастерке с темным кровавым пятном на плече.

— Пристрели... Не жилец я...— взмолился Степан.

— Ты бы адрес дал. Слышишь? Кому сообщить...— Майор нагнулся к лицу Степана.— Адрес родных скажи.

Степан помолчал и с трудом прошептал:

— Чебоксары... Первомайская... Три... Климова Анна...

Майор достал из планшета огрызок карандаша и на изодранной карте записал адрес.

Потом открыл кобуру, вынул револьвер. В барабане было четыре патрона.

Степан откинул голову и ждал.

Майор потоптался вокруг.

— Вот беда...— дрогнувшим голосом сказал он.— Патронов нет... Ты уж прости.

Майор нагнулся, поцеловал мокрый лоб Степана и побежал к дороге.

Когда он вернулся с двумя пехотинцами, Степан уже был мертв.

ПОРТФЕЛЬ

В маленьком отсеке штольни, где размещался кабинет председателя горисполкома, было душно и пахло сыростью.

Василий Петрович Ефремов лежал на койке, закинув руки под голову, и никак не мог уснуть. Глаза уставились в потолок, будто увидели что-то новое, интересное. А было все то же, что и вчера и месяц назад: белая фанера, поблескивавшая подземной росой. Он закрывал глаза, но они, словно назло, никак не слипались.

Василий Петрович повернулся на бок — теперь его взгляду предстал план Севастополя, спускавшийся с самого потолка. На огромной карте распластался город. От берегов бухт в разные стороны разбегались улицы и переулки. Четкие линии очерчивали их границы. Но удивительная стройность, запечатленная на бумаге, не могла его обмануть.

Он видел другое. Какую бы улицу ни улавливал глаз — память старожилы мгновенно фиксировала: этот дом разрушен до основания... от дома четырнадцать осталась только задняя стена... напротив была библиотека — она сгорела. Чуть подует ветер — пепел вздымается черными мотыльками. Дальше... Что же дальше? Память услужливо подсказывает: здесь был детский сад.

Василий Петрович повторяет:

— Здесь был...

Невольно глаза потянулись к квадрату Корабельной стороны. Тут он родился. Когда вырос — узнал, что дед был участником обороны Севастополя и, как рассказывали в семье, видел своего однополчанина артиллерииста Льва Толстого.

Была Корабельная — теперь от берега Южной бухты вздымается высота пожарищ и руин.

Ох, какая это мучительная экскурсия и сколько еще предстоит увидеть?

Уснуть он так и не смог. Пришлось встать. Посмотрел на часы — четыре утра. Он сел за стол. Разбирая текущие бумаги, увидел маленькую книжку «Умственный труд и здоровье» со штампом: «Библиотека института физических методов лечения имени Сеченова». Странно. Как она попала сюда? Сегодня заходил главный врач больницы — может, он забыл?..

Василий Петрович полистал книжку и на одной из страниц увидел подчеркнутое красным карандашом: «Природа создала эмоции для того, в основном, чтобы обеспечивать энергией мышечную деятельность, следовательно, и «разряжать» эмоции нужно преимущественно в мышечных усилиях. Человеку со «взвинченными нервами» полезно, например, взбежать по лестнице на второй или третий этаж, прийти на работу пешком или приехать на велосипеде...»

— Намекают, черти, — вздохнул Ефремов. — Взвинченные нервы... Должно быть, главврач подсунул. А где теперь в городе лестницы на третий этаж?

Утром Василий Петрович отправился в убежище, в котором жило более двухсот человек. Накануне он получил жалобу, что при взрывах бомб подвал сильно содрогается, осыпается штукатурка. Просили коменданта принять меры, а он руками разводит, война, мол. Ефремов обошел с комендантом убежище, обдумывал, где бы поставить дополнительные укрепления, как обложить вход мешками с землей, чтобы взрывная волна не завалила дверь, и, уже прощаясь, спросил коменданта:

— Почему вы с людьми так нервно разговариваете? Кричите...

Комендант тупо посмотрел на обвалившуюся штукатурку.

— Так ведь война, товарищ председатель... — И, чуть помолчав, добавил: — Потом у меня характер...

— Характер — это как нижнее белье. Его надо иметь, но нельзя показывать...

Через несколько дней у входа в штольню городского комитета обороны появился мотоцикл. Он долго простаивал под навесом, и никто не знал, что его хозяин — Василий Петрович. И только когда «взвинченные нервы» рвались наружу, Ефремов, вспомнив прочи-

танную книгу, покидал свой отсек и, оседлав мотоцикл, гонял то в Балаклаву, то по Загородному шоссе к Херсонесскому мысу.

Не знал он тогда, что этой же дорогой по Загородному шоссе будет покидать город...

А случилось это 30 июня 1942 года.

Он вышел к машине с одним портфелем, в котором лежал план города, снятый со стены отсека, и пятнадцать тысяч рублей — зарплата эвакуированным работникам горисполкома.

Небо уже было чужое. Только краешек, тот, что над морем у мыса Херсонес, был еще своим, родным.

Прорвавшись на Северную сторону, немцы добивали город из орудий; их самолеты охотились за людьми и машинами. Клубы черного дыма плыли над севастопольской землей.

Машина ехала медленно, приходилось расчищать завалы. Каждый поднятый камень острой болью отзывался в сердце.

Все чаще дорога обстреливалась врагом.

За городской чертой вблизи машины разорвался снаряд. Шоферу перебило ноги. Секретари горкома Борисов и Сарина были ранены.

Василию Петровичу повезло: один осколок угодил в ногу, другой был бы смертельным. Но он только перебил напильник, который всегда лежал в левом нагрудном кармане кителя. Это был его талисман — память о родном заводе...

Покинув изуродованную машину, они добрались до мостика, решив переждать здесь до темноты.

И вдруг Ефремов воскликнул:

— А где же портфель? Там деньги!

— Обойдется. Туда нельзя, погибнешь, — уговаривали его друзья.

— Я должен... Они уехали без денег... Ни гроша...

С этими словами он выполз из оврага и, подхватив обугленную палку, заковылял обратно.

Уже темнело. Все ближе и ближе раздавался угрожающий клекот вражеских пулеметов.

А он все искал, обшаривал гудящую землю, и где-то вдали от машины — отбросило взрывной волной — нашел портфель.

Через пять дней он добрался до Краснодара, сам разграфил ведомость на зарплату сотрудникам исполкома и опустошил портфель.

На столе осталось всего лишь один рубль сорок семь копеек.

НАДПИСЬ НА ДИПЛОМЕ

Шансов на удачу было мало. Но все-таки Василий переборол тягостное чувство и решительно отворил дверь командного пункта.

В сущности, просьба, с которой он хотел обратиться к контр-адмиралу, была тщательно обдумана. И хотя в основе ее был почти стопроцентный риск, требовала эта просьба от контр-адмирала только одного — доверия. Но именно на это рассчитывать Василий не мог. Так ему, во всяком случае, казалось.

У контр-адмирала была хорошая память, и он, несомненно, мог вспомнить мореходное училище, где Василий был курсантом, а он, контр-адмирал, читал курс навигации. Он вспомнил бы и тот злополучный день выпускных экзаменов, когда Василий протянул зачетную книжку и получил ее с отметкой «удовлетворительно».

Василий пытался тогда объяснить неудачу болезнью, но в ответ услышал громкое: «Болезнь во время сессии — признак отсутствия таланта».

С той поры прошло много времени, но при каждой неудаче досужие языки напоминали Василию колючий разговор про талант.

Войну он начал старшим помощником, а потом стал командиром тральщика. На корабле его любили. И не вина Василия, что, множество раз пропахав военное Черное море, он получил приказ пришвартовать корабль около Угольной пристани и ждать специального задания.

Хитрый камуфляж преобразил облик тральщика. Красивые линии труженика моря стали бесформенными и удручающе тупыми. Но это спасало корабль от воздушных налетов, прекращавшихся только в короткие часы июньской ночи.

И все-таки противник разгадал тайну тральщика. Девять бомбардировщиков пикировали на корабль. Одному из них удалось угодить в цель.

Корабль пылал. Огонь подобрался к артиллерийским погребам.

Василий приказал:

— Затопить погреб! Все с корабля!

Лишь один комендор прорвался сквозь бушующее пламя и смог затопить погреб.

Когда самолеты, отбомбившись, ушли за Инкерман на север, Василий решил спасти тральщик.

Все, кто остался в живых, бросились с причала на зов командира:

— Всем на корабль! В атаку на огонь!

Многие в этот день в последний раз видели небо Севастополя, зловеще задымленное и тревожное. Они уже не слышали глухой топот товарищей, метавшихся по раскаленной палубе и спасших корабль от гибели.

Контр-адмирал знал все и никак не предполагал, что Василий скажет:

— Разрешите вести тральщик на Большую землю.

Контр-адмирал задумался. Трудно было понять, что его больше озадачило: дерзость замысла или самоуверенность молодого командира.

Василию показалось, что контр-адмирал силится вспомнить историю с «тройкой», и внутренне подготовился настойчиво требовать, хотя отлично понимал незыблемые законы субординации и безумно трудное положение Севастополя.

— Вы все продумали?

— Так точно.

— Командирский мостик сгорел?

— Так точно.

— Компаса нет? — Контр-адмирал загибал длинные пальцы обветренной руки. — Рулевое управление вышло из строя?.. Так? А оружие?

— Сохранилась винтовка дневального.

Василий почувствовал, как тяжелая усталость качнула его в сторону. И если бы не протянутая рука, сильно пожавшая его обгорелую ладонь, он бы наверняка упал.

— Чем черт не шутит... Желаю счастливого плавания!

Ночью тральщик отошел от Угольной пристани. Без руля и без ветрил он покидал родной порт. Шел в потемках, шел через минные поля. Компас привязали к обожженной мачте. И больше чем когда-либо за всю морскую жизнь смотрели на звезды и солнце. Счастье обретенного доверия вселяло надежду на благополучный исход.

И уже вдали от Севастополя огнем единственной винтовки, со злости понимая бессмысленность этого, отбивались от воздушных атак.

Тральщик с обгорелым флагом все же пересек море и бросил якорь у берега Большой земли.

Здесь моряки узнали, что наши войска оставили Севастополь.

В Новороссийске Василию сообщили, что его вызывает контр-адмирал и просит захватить диплом мореходного училища.

Он пришел, теряясь в догадках: зачем понадобился диплом?

Контр-адмирал поцеловал Василия и коротко спросил:

— Принес?

Василий смущенно вынул синюю книжечку, положил на стол.

Контр-адмирал раскрыл ее и очень долго, сосредоточенно вглядывался в проставленные оценки. Затем рядом со строкой «Навигация», зачеркнув «удовлетворительно», поставил чуть крупнее, чем следовало, «отлично» и четко расписался.

ОСТРОВ НАДЕЖДЫ

Улицу, как и человека, на каждом шагу подстерегала смерть.

Первая печаль омрачила в ночь на 22 июня Греческую. Два дома, сметенные бомбой, открыли скорбный счет гибели города.

Белокаменные дома не знали слова «эвакуация». Они были безмолвной игрушкой в руках случайности. И кто знает, может, домам

стало легче умирать, когда они перестали слышать стоны и крики людей, когда женщины, старики, дети ушли в штольни и убежища.

Улица Карла Маркса — рядом с Греческой. В первую ночь войны она чуть содрогнулась, а потом сама узнала горечь утраты, теряла своих близких все чаще и чаще.

Был на этой улице особенный дом — почта. Со всех сторон стекались сюда судьбы людей, скрытые в солдатских треугольных конвертах с номером полевой почты, в тревожных телеграммах, в бесконечных письмах, омытых слезами. Кругом были руины, а почта стояла, возвышаясь над хаосом разрушений; она была островом надежды. Люди приходили сюда, и никто не знал, что таит в себе бумага, на которой стоял штемпель «Севастополь».

Но война родила еще одну почту. Ее стены запестрели десятками, сотнями листков, приклеенных, приколотых, пришитых...

Стены почты ожили, наполнились мольбой и просьбой, вздыхали от тяжести утрат, звали в дорогу, советовали, огорчались.

В зале всегда было много людей. Они подолгу вчитывались в эту обнаженную жизнь, искали то, что касается их.

О чем только не говорили стены!

«Василий! Пятого умерла мама. Дом сгорел. Живем в пещере у Инкерманского монастыря. Была в исполкоме, дали немного денег. Приедет транспорт — уедем. Жив ли ты? Твои Ира и Клавочка».

«Товарищи! Если кто знает про моего сына Алексея Трофимовича Рудько — отпишите. Ему двадцать шесть лет. Над правой бровью — родинка. Просит вас убитая горем мать Мария Степановна».

«Семья Карповых, отец Макар Иванович, дочери Таня и Варя, уезжаем на Большую землю. Будем добираться к деду под Красноярск. Кто сможет сообщить об этом нашему брату — спасибо. Как был ранен, больше не пишет».

«Дорогая мама! Вчера наш транспорт прорвался в Севастополь. После разгрузки отпустили. А когда пришел домой — одни развалины. Где ты? Про свою рану забыл, даже бегаю. Наградили медалью «За отвагу». Мой адрес: полевая почта 1206. Целую, родная. Твой Артем Маркелов».

«Лидочка! Деньги и аттестат перевел маме. Уезжай к ним. Береги Ниночку. Стал командиром катера. Воюем. Старший лейтенант Окушко».

«Если кто эвакуируется в Новосибирск — очень прошу зайти к моим старикам, — передайте привет от сына Дмитрия. Теперь я на батарее. Живой. Адрес в Новосибирске: улица Горького, дом 3».

К обложке тетради приклеена фотография младенца, рядом текст: «Родной Сашенька! Вот такая у нас дочурка. Назвали, как ты просил, Аней. Живем у Васильевых в Чистополе. Ответа на наши письма не имеем. Валя». И сбоку приписка красным карандашом: «Если кто знает, где мичман Александр Прохорович Гушин — передайте. С благодарностью Валя Гущина».

«Николай! Наш дом разбит. Живем в штольне номер 2. Евдокия ушла на фронт. Писем до сих пор нет. Воронины».

В толпе, теснившейся у стен, я увидел моряка. Он торопливо пробегал глазами листки, переходил от стены к стене, при этом нервно поглядывал на часы — явно спешил. Чем больше он прочитывал листков, тем сумрачней становился его взгляд. Он снова посмотрел на часы и, поправив сбившуюся набок бескозырку, сделал шаг к выходу. Вдруг он заметил несколько бумажек, приклеенных к огнетушителю.

В одно мгновение он просветлел. Листок из тетради в косую линейку адресован ему.

— Люди! — радостный голос перекрыл гомон собравшихся. — Нашел! — и бескозырка взметнулась к потолку. Отлепив записку, он выбежал на улицу.

Из Севастополя я уходил на лидере «Ташкент». Корабль бомбили. Он огрызался огнем и отчаянно маневрировал. «Ташкент» победил. Стоя на палубе, я видел эту схватку.

Среди зенитчиков я заметил лицо моряка, показавшееся мне очень знакомым. Я силился вспомнить, где мы встречались, но память молчала. Я подошел к нему. Он снял каску, вытер рукавом пот, струившийся по лицу.

Теперь я вспомнил почту. Это был он. И все-таки спросил:

— Помните записку на огнетушителе?

— Точно, было. Своих нашел — живы! — Глаза его заиграли добрыми искорками. — Не зря про севастопольскую почту говорят: «Остров надежды».

СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО

Эту историю мне поведал Василий Тихонович Лопачук, бывший секретарь Центрального райкома партии.

— Теперь я могу рассказать все по порядку. Это уже перестало быть тайной. А тогда? — Он задумался. — Самое горькое и удивительное в этой истории было то, что я до определенной поры не знал всей правды... Скажу больше. Я тогда совершенно не представлял, какую роль сыграл в судьбе коммуниста Вялушкина. — Василий Тихонович тронул рукой седой висок, словно прикоснулся к тому давнему времени, когда побелела голова. — Таковы были обстоятельства.

Однажды рабочий вагонного депо Вялушкин был вызван к секретарю горкома партии Борисову.

Вялушкин думал, что Борисов сразу объяснит, зачем вызвал. Но Борисов не торопился. Он повел неторопливый разговор о работе железнодорожного узла, о коммунистах депо, о семейных делах Вялушкина.

— Предположим, — вдруг сломав неторопливый ритм беседы,

сказал Борисов, — предположим, что гитлеровцам все же удастся взять Севастополь... Вы бы тогда смогли остаться в городе?

Услышанное не сразу дошло до Вялушкина, а потом пришибло неожиданной тяжестью. Он потер вспотевшие руки и очень тихо спросил:

— Неужели возьмут?

Борисов поднялся и стал расхаживать по кабинету. Он вспомнил свой разговор с секретарем обкома, когда тот сказал: «На случай, если немцы займут Севастополь, надо подобрать коммунистов для подпольной работы в городе...» И у Борисова тогда тоже вырвалось: «Неужели возьмут?» — потому что понять это просто и сразу было немыслимо.

Но оттого, что дело это поручалось ему одному и строго секретно, Борисов почувствовал, что угроза серьезная.

Вялушкин уставился на карту, где флажками была отмечена линия фронта, и все не давал ответа.

Тогда Борисов сказал:

— Я жду вас завтра. Подумайте. Решение вопроса, естественно, зависит только от вас.

Советоваться было не с кем. Просто нельзя. Вялушкин молча ушел.

У него было бесконечно много и бесконечно мало времени на то, чтобы обдумать предложение. Он знал, что будет трудно, опасно, что он всегда будет на волоске от смерти. Это не подлежало сомнению, и если душа Вялушкина была готова к такому — значит, хватило бы и минуты на ответ, а уж если нет — то время ничем не могло помочь.

Он пришел и дал согласие.

С этого мгновения началось самое страшное, чего он предвидеть не мог.

Вся сложность предстоящей подпольной работы была ему понятна, объяснима. Он будет действовать в тылу у немцев.

А он услышал:

— Вам нужно, обязательно нужно, — подчеркнул Борисов, — скомпрометировать себя среди своих товарищей и, конечно, в парторганизации.

— В каком смысле?

— Смотря по обстановке. В одном случае вы откажетесь от вступления в ряды народного ополчения, в другом — проявите нежелание поддержать коллектив в сборе теплой одежды для фронтовиков...

Вялушкин не дал договорить Борисову.

— Нет, такого я не смогу... Да вы поймите, товарищ секретарь!..

Он кипел, потом умолкал, вышагивал по кабинету. И наконец, выпив залпом стакан воды, сказал:

— После драки кулаками не машут. Раз согласился, значит, быть тому... Придется напаялить волчью шкуру.

Видимо, Борисов не зря намекнул Вялушкину про народное ополчение. Знал, что через несколько дней повсюду будет запись.

Это был первый экзамен Вялушкина.

В депо уже все записались. Один лишь он притулился в уголке цеха и молчал.

— А ты что, из другой породы! — выкрикнул пожилой машинист.

— Хорош гусь. Сразу онемел, — пробасил председатель собрания.

Вялушкин направился к столу, но, сделав несколько шагов, остановился и пробормотал:

— Не положено мне брать оружия в руки. — И демонстративно отвернулся.

И тут началось. Все заговорили, стали шуметь.

— Гнать его из партии!

— Сволочь!

— Сектант проклятый!

Когда об этом узнал Лопачук, то посоветовал секретарю парторганизации обсудить поведение Вялушкина на партсобрании.

Оно состоялось в тот же вечер. Вялушкина исключили из партии.

Через несколько дней Центральный райком партии разбирал его персональное дело. Вялушкин твердил одну и ту же фразу: «Оружия не возьму».

Стараясь не глядеть в лица членов бюро, Вялушкин думал об одном: «Скорее бы все кончилось».

Выступили все члены бюро. Лопачук поставил на голосование единственное предложение: исключить Вялушкина из рядов ВКП(б).

Все подняли руки.

Вялушкин вынул из кармана партбилет и протянул Лопачуку.

И стал он словно отрезанный ломоть. Его обходили стороной. Порой он слышал, как за его спиной раздавались гневные голоса, припечатанные круто соленым словом.

А еще было такое. Железнодорожники собирали деньги на строительство танковой колонны.

— Не буду я вносить, — ответил он. — Мой трояк погоды не делает.

Его исключили из профсоюза.

Когда Лопачук бывал на станции, он видел Вялушкина. Приметил его осунувшееся лицо с воспаленными, красными веками. И походка у него стала другой, он шагал пригнувшись, словно под тяжестью. Однажды Лопачук даже заговорил с ним, но он сухо поздоровался и отошел в сторону.

Прошло время. Лопачук специально пришел на станцию, чтобы повидать Вялушкина.

Правда, которую узнал о нем от Борисова, не давала Лопачуку покоя.

А все произошло из-за того, что Вялушкин встретился с Борисовым и, получив явку и пароль для связи с будущими подпольщиками, высказал свою главную тревогу.

Его мучило то, что только один Борисов знает о партийном задании Вялушкина. Но на войне бывает всякое. Вдруг случится что-либо с Борисовым, кто же тогда реабилитирует доброе имя коммуниста Вялушкина, который взвалил на свои плечи груз позора ради своей партии, страны. Это ж подумать только — всю жизнь ходить отвергнутым, чужим.

Борисов, поняв безвыходность положения Вялушкина, обещал сообщить о его партийном задании секретарю обкома партии и первому секретарю Центрального райкома Лопачуку.

Так Василий Тихонович узнал правду о коммунисте, у которого своими руками отобрал партбилет.

Лопачук считал себя самым счастливым человеком, когда судьба столкнула его после освобождения Севастополя с Вялушкиным, человеком, пережившим столько горьких, трудных дней.

Не сразу ему вернули партбилет. По-прежнему многие люди называли его предателем, иудой.

Вялушкин терпеливо ждал, пока проверяли его поведение в дни немецкой оккупации и наконец вызвали в райком.

Василий Тихонович пожал его исхудавшую руку и вручил бывшему рабочему вагонного депо партбилет, где на трех страничках не было отметок об уплате членских взносов.

СОДЕРЖАНИЕ

Письмо с фронта	3
Брехун	4
Светлячок	8
Макароны по-флотски	9
Хочется жить	11
Собачка со штопором	13
Репортаж из окна бани	14
Модница	15
Третья ошибка	17
Сто одна прическа	20
Птичий взвод	21
Свой почерк	23
Проморгала...	26
Минута — это много	28
За пределами сводки	30
Миллионерша	31
Просьба	34
Портфель	35
Надпись на дипломе	37
Остров надежды	39
Совершенно секретно	41

**В СЕРИИ «БИБЛИОТЕКА «ОГОНЕК» В 1984 Г.
ВЫШЛИ СЛЕДУЮЩИЕ КНИГИ:**

1. С. ВАСИЛЬЕВ. *Россия. Стихи.*
2. А. АЛЕКСИН. *Ночь перед свадьбой. Повесть и рассказы.*
3. А. ГОВОРОВ. *Свидание. Стихи.*
4. Б. ПРИВАЛОВ. *Необычайные приключения хорошо сшитого костюма.*
5. В. ДЕСЯТЕРИК. *Обращаясь к Ленинской мысли.*
6. Е. ВИНОКУРОВ. *Космогония. Стихи.*
7. А. ИВАНОВ. *Повесть о несбывшейся любви.*
8. А. АЛЬ-ХАМИСИ. *Любимая! Когда б они смогли... Поэмы.*
9. С. ШЕРИПОВ. *Волшебная дорога.*
10. С. ПОДЕЛКОВ. *Ожидание журавлей. Стихи.*
11. В. ЛАЗАРЕВ. *Уроки Василия Жуковского. Очерки.*
12. Я. МАКАРЕНКО. *Высшая проба. Очерки.*
13. М. КОЛОСОВ. *Костер. Рассказы.*
14. Б. МАРБАНОВ. *Шакалы в стае волков.*
15. К. БАРЫКИН. *Монолог некапризного покупателя.*
16. Л. ЛЕНЧ. *Она была красивая женщина. Повесть и рассказы.*
17. Н. СКАТОВ. *Русский гений.*
18. С. ВИШНЕВСКИЙ. *Сенокос. Стихи. Перевод с марийского.*
19. И. ПИРОГОВА. *Ты и никто другой. Очерки и статьи.*

20. Е. ЕВСЕЕВ. Палестинцы — непокоренный народ.
21. Ю. НОВИКОВ. Улица полна света. *Рассказы.*
22. Ю. СЕМЕНОВ. Пересечения. *Повесть и рассказ.*
23. Р. ЛИХАЧ. Впереди было лето... *Рассказы и очерк.*
24. Е. РЯБЧИКОВ. За горизонтом — горизонт. *Рассказы и очерки.*
25. А. ШЕВЕЛЕВ. Всем сердцем. *Стихи.*
26. Т. КАЛУГИНА. Пути восхождения. *Книга о Н. К. Рерихе.*
27. А. ЖАРОВ. Весне навстречу. *Стихи.*
28. Е. ОСЕТРОВ. Записки старого книжника.
29. Г. САФИЕВА. Ради тебя. *Стихи.*
30. В. ЗАХАРЧЕНКО. Моя кардиограмма. *Стихи.*
31. Н. ЛЕЙКИН. Театральные портреты.
32. М. АНГАРСКАЯ. Всепобеждающая жизнь. *Воспоминания о
Вс. Вишневском.*
33. М. КОТОВ. Доброе имя. *Очерки.*
34. С. ФЛОР. Часы не остановлены. *Статьи и этюды о шахматистах.*

Семен Семенович КЛЕБАНОВ
СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО

Редактор Д. К. И в а н о в
Технический редактор О. Н. Л а с т о ч к и н а

Сдано в набор 05.11.84. Подписано к печати
25.12.84 А 15452. Формат $70 \times 108^{1/32}$. Бумага
газетная. Гарнитура «Школьная». Офсетная
печать. Усл. печ. л. 2,10. Учетно-изд. л. 2,97.
Усл. кр.-отт. 2,28. Тираж 86 000 экз. Изд. № 76.
Заказ № 3793. Цена 20 коп.

Ордена Ленина и Ордена Октябрьской
Революции типография имени В. И. Ленина
издательства ЦК КПСС «Правда». 125865,
ГСП, Москва, А-137, ул. «Правды», 24.

ВЛАДЕЛЬЦАМ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

● Госстрах проводит добровольное страхование средств транспорта и возмещает ущерб их владельцам в случае повреждения или гибели средств транспорта в результате аварий, различных стихийных бедствий, а также при их похищении или угоне.

● Находящиеся в личной собственности граждан автомашины, мотоциклы, мотороллеры, мопеды, моторные, парусные, гребные лодки, катера и другие суда можно застраховать на один год или на срок от 2 до 11 месяцев.

● Плата за страхование устанавливается в зависимости от вида транспорта, размера страховой суммы и срока страхования и вносится при заключении договора. Если годовой платеж превышает 30 рублей, то уплатить его можно за два раза: половину суммы — при заключении договора, а оставшуюся сумму — в течение 4 месяцев после вступления договора в силу.

● Внести платеж можно наличными деньгами или путем безналичного расчета.

● Лицам, страховавшим средства транспорта в течение двух и более лет без перерыва и не допустившим за это время по своей вине аварий, Госстрах предоставляет скидку в размере 10%, а в течение трех и более лет — 15%.

● Подробно ознакомиться с условиями страхования и оформить договор можно у страхового агента или в инспекции Госстраха.

Госстрах РСФСР